



М. МЕТЛИЦКАЯ, Р. СЕНЧИН, М. ТРАУБ,
Т. БУЛАТОВА, Е. ИСАЕВА И ДРУГИЕ

МАМА ТЕБЯ ЛЮБИТ, А ТЫ ЕЁ БЕСИШЬ!

🐾 РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 🐾



УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М22

Оформление серии *Г. Булгаковой*

М22 **Мама** тебя любит, а ты её бесишь! : [сборник]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 448 с. — (Радость сердца. Рассказы современных писателей).

ISBN 978-5-699-95477-3

Материнская любовь не знает границ, любящие матери не знают меры, а дети — маленькие и уже взрослые — не знают, как правильно на эту любовь ответить. Как соответствовать маминим представлениям о хорошем ребенке? Как жить, чтобы она была вами довольна? Как себя вести, чтобы не бесить ее, а радовать? Ответы на эти вопросы — в нашем сборнике рассказов современных писателей.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2017

© Приудон С., 2017

© Усачева Е., 2017

© Хрусталева А., 2017

© Булатова Т., 2017

© Гуреев М., 2017

© Лисковая О., 2017

© Сенчин Р., 2017

© Федорова А., 2017

© Трауб М., 2017

© Нестерина Е., 2017

© Лаврентьев М., 2017

© Исаева Е., 2017

© Оформление.

ООО «Издательство «Э», 2017

ISBN 978-5-699-95477-3

МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ

Алик — прекрасный сын

Соседей, как и родственников, не выбирают. Хотя нет, не так. С несимпатичными родственниками ты можешь позволить себе не общаться, а вот с соседями — хочешь не хочешь, а приходится, если только совсем дело не дойдёт до откровенного конфликта. Но мы же интеллигентные люди. Или пытаемся ими быть. Или хотя бы казаться. Да ещё есть такие соседи, от которых никуда не деться. В смысле, не спрятаться. Особенно если вы соседи по даче, участки по восемь соток и у вас один общий забор. В общем, секс для бедных.

Хозяин дома Виктор Сергеевич, отставник, человек суровый и прямой, был категоричен и считал, что с соседями точно не подфартило. А вот его супруга Евгения Семёновна, женщина тихая и интеллигентная, учительница музыки, была более терпима и к тому же жалостлива, впрочем, как почти любая женщина.

Теперь о том, кого она жалела.

Соседская семья состояла из четырёх человек: собственно хозяйка, глава семьи и рулевой Клара Борисовна Брудно, мать двоих детей и женщина практически разведённая, но об этом позже; двое её детей — сын Алик и дочка Инка; и престарелая мать Фаина. Без отчества. Просто Фаина.

Теперь подробности. Клара была женщиной своеобразной. Крупной. Яркой. Шумной. Всё это мягко говоря. Если ближе к реалиям, то не просто крупной, а откровенной толстухой. Объёмным было всё — плечи, руки, грудь (о да-а!), бёдра, ноги, живот. Всё — с излишком. Яркой — да, это правда. Лицо её было преувеличенно рельефным — большие тёмные навывкате глаза, густые брови, мощный широкий нос и крупные, слегка вывернутые губы. Всё это буйство и великолепие обрамляли вьющиеся мелким бесом тёмные и пышные волосы, которые Клара закручивала в витиеватую и объёмную башню. Дополнялось всё это яркой бордовой помадой и тяжёлыми «цыганскими» золотыми серьгами в ушах. Полные руки с коротко остриженными ногтями, на которых толстым и неровным слоем лежал облупившийся лак. Одевалась она тоже — будьте любезны: в жару тонкое нижнее трико по колено, розовый атласный лифчик, сшитый на заказ (такие объёмы советская промышленность предпочитала не замечать), а поверх всего этого надевался длинный фартук с карманом. Если спереди вид был куда-никуда, то когда Клара поворачивалась задом... Картинка не для слабонервных.

Хозяйка она была ещё та — к мытью посуды приступала, только когда заканчивалась последняя чистая тарелка или вилка. А обед она готовила так: в большую, литров шесть, кастрюлю опускала кости, купленные в кулинарии по двадцать пять копеек за кило. Это были даже не кости, а большие и страшные мослы, освобождённые от мяса почти до блеска. Они вываривались часа три-четыре, потом щедрой рукой Клара кидала в чан крупно наструганные бруски картошки, свёклы, моркови и лука. В довершение в это гастрономическое извращение всыпалась любая крупа: гречка, пшено, рис — всё, что оказывалось в данный момент под рукой. Этот кулинарный шедевр Клара называла обедом. Готовился он, естественно, на неделю. То же страшноватое варево предлагалось заодно и на ужин. Хлеб, правда, что на обед, что на ужин, резался щедро, крупными ломтями — батон белого и буханка чёрного.

По выходным (читай, праздник) делалась немислимая по размеру яичница — праздник для детей, но и это нехитрое блюдо Клара умудрялась испортить, добавляя туда отварную картошку и вермишель. Хотя понять её было можно — все постоянно хотели есть, особенно старая Фаина. Фаина эта вообще была штучка — крошечная, сухонькая, с тощей седой косицей, в которую непременно вплеталась сечённая по краям мятая атласная ленточка грязно-розового цвета, тоже выдавшая виды. Считалось, что Фаина занимается огородом — Клара её называла Мичуриным. Действительно, она маячила на участке весь световой день — что-то пропалывала, рых-

лила, пересаживала. Не росло ничего. Даже элементарный лук вырастить не получалось, не говоря об огурцах, редиске и прочем. Потом она додумалась удобрять своё хозяйство отходами человеческого организма, помещивая весь этот ужас длинной палкой в старой жестяной бочке. Но тут не выдержала даже спокойная соседка Евгения Семёновна и попросила прекратить эти опыты. Примерно в час дня Фаина взывала к совести дочери и требовала обед.

Клара громко возмущалась:

— Такая тощая, а столько жрёшь!

Фаина оправдывалась:

— Я же занимаюсь физическим трудом.

— Ха! — громогласно, участков эдак на пять, восклицала Клара. — А где результат твоего труда?

Домочадцев она называла иждивенцами, правда, о каждом говорила с разной интонацией. О Фаине — с лёгким презрением и пренебрежением, о сыне Алике — гневно и почти с ненавистью, а о дочке Инне — с лёгкой и нежной иронией.

Инну, довольно хорошенькую, молчаливую и туповатую кудрявую толстушку, Клара обожала, это была её единственная и ярая страсть. На улицу, где шла вольная жизнь местных детей, девочка выходила молча, бочком, на велосипеде не каталась, в салки и казаки-разбойники не играла, тихо посапывая, сидела на бревне и жевала горбушки, распаханные по многочисленным карманам грязноватого сарафана. Брата её Алика тоже всерьёз обо не принимали — тощий, носатый, с вечными сопля-

ми, хлюпающий ханурик в сатиновых трусах. Ни толку от него, ни проку. Но его жалели, не гнали и, всегда неохотно вздыхая, брали в игру. Клару, конечно же, осуждали. Два родных ребёнка — и такая разница в отношении! Допустим, бывают у матери любимчики, хотя это странно, но факт — бывают. Но чтобы одного ребёнка так откровенно, не стесняясь, лелеять, а второго, мягко говоря, не замечать! Впрочем, все они там были с большими прибабахами.

— Иннуса! — сладким голосом кричала Клара, стоя на крыльце подбоченясь.

— Чего? — не сразу откликнулась дочь.

— Иди, солнышко, кофе пить, — ворковала Клара.

Конечно, это был не кофе — кофе был им просто не по карману, — а какое-то пойло, дешёвый напиток, но к нему полагались пряники или овсяное печенье, немислимые лакомства, достававшиеся из глубоких и никому не ведомых Клариных тайников. Клара и дочка усаживались на веранде и начинали пировать. Фаина сидела на грядках и водила носом — её на эти пиршества не приглашали, а Алика и подавно. Евгения Семёновна не выдерживала, подходила к общему забору и тихо выговаривала Кларе — за мать, за Алика. Клара не обижалась, а отвечала спокойно:

— Что вы, Евгения Семёновна, Фаине кофе вредно, спать ночью не будет. А этот малахольный и так по ночам ссытся — это в тринадцать-то лет! Ну их! — махала рукой Клара, облизывая крошки с толстых накрашенных губ.

Евгения Семёновна качала головой и Клару осуждала:

— Ведь он тоже ваш сын, Клара, а как приёмш, ей-богу.

— Ох, — вздыхала Клара, закатывая глаза, — вы же знаете, Евгения Семёновна, Алик у меня от этого изверга (так обозначался первый Кларин муж). Такой же шаромыжник растёт, как его отец. Ни тпру ни ну. Нахлебалась я с ним — во! — Клара проводила рукой по горлу. — Ну, сами знаете, — деловито добавляла она. — Не жизнь была — пыточная камера. А Иннуся, — взгляд её влажнел и останавливался, — знаете ведь, от любимого человека. И это большая разница! — Клара назидательно поднимала похожий на сардельку указательный палец.

— Бросьте, Клара, — сердилась Евгения Семёновна, — дети тут ни при чём. Сначала рождаете от кого попало, а потом свои обиды и комплексы на них вымещаете.

Клара тяжело вздыхала — соглашаться ей уже надоело, это было не в её характере. Тогда она укоряла соседку:

— Вы, Евгения Семёновна, пе-да-гог, — произносила она по слогам. — У вас всё по науке, а жизнь — это жизнь. — И, не выдерживая, начинала хамить: — Да и что вы в этом смыслите! Своих-то у вас нет! — И, развернувшись, чувствуя себя при этом победительницей и единственно правой, она с достоинством удалялась от забора, демонстрируя несвежее фиолетовое трико.

Евгения Семёновна расстраивалась, даже плакала — от обиды и хамства. Уходила в дом и переживала, долго, до вечера. Муж её ругал:

— Куда ты лезешь! Дура ты, а не она! Нашла с кем связываться — с этой непробиваемой хамкой и торгашкой. Удивительно, — кипятился он, — ну ничему тебя жизнь не учит. Сиди на участке и не лезь в чужие жизни.

— Мне ребёнка жалко! — всхлипывая, оправдывалась Евгения Семёновна.

— Заведи себе кота, — резко бросал муж и хлопал дверь.

Прожив долгую жизнь, внутренне они так и не смирились со своей бездетностью. Дернул же чёрт Евгению Семёновну тогда, зимой 79-го, в страшный мороз и гололёд, будучи на шестом месяце, отправиться с подружкой в кино. Идти не хотелось, но, как всегда, было трудно отказаться. Упала она почти у подъезда — страшно ударилась затылком, так, что не спасла отлетевшая в сугроб песцовая шапка. Потеряла сознание, и сколько пролежала она на льду, одному Богу известно. У неё было сотрясение мозга, ночью начались боли и рвота. Ребёнка она потеряла. Как следствие — сильнейший стресс, депрессия, жить тогда вообще не хотелось. Вылезала из этого годами, с невероятным трудом. Усугубляло ещё и страшное чувство вины — перед младенцем, а главное, перед мужем. Забеременеть ей так больше и не удалось — сколько ни старалась, ни лечилась. Чувствовала, что муж её так и не простил, хотя сказал всего одну фразу: «Эх, Женя, Женя...»

К сорока годам, поняв окончательно, что борьба бессмысленна, робко заговорила с мужем о возможности взять младенца в детском доме. Он тяжело посмотрел на неё и сказал:

— Нет, Женя, чужого не полюблю. — И добавил: — Раньше думать надо было.

Тогда она ещё раз убедилась — не простил. Значит, не простит никогда. Жизнь была ей тягостна и порой невыносима — к чудовищной, неустанной боли прочно приклеилось чувство неизбывной вины. И каждый раз, глядя на небрежное Кларино материнство, она думала о вселенской несправедливости — такой, как *эта*, Бог дал двоих, а ей — ни одного. За что, Господи, за один необдуманный шаг, даже не за проступок, — и такая кара, такая непосильная плата. Ах, какой бы она могла быть матерью!

Бездетные женщины обычно испытывают к чужим отпрыскам либо полное безразличие и неприятие, либо глубокую и тщательно скрываемую нежность и жалость.

Евгения Семёновна жалела неприкаянного Кларино-го сына Алика, переживая и яростную обиду, и тихую скорбь, и непреодолимое желание обогреть, накормить и просто обнять, прижать к своему изболевшемуся сердцу. Пару раз, в бессонницу, ей приходила в голову дикая мысль — забрать Алика у Клары. В том, что та легко откажется от него, Евгения Семёновна практически не сомневалась. Мысленно она выстраивала свои долгие монологи, переходящие в не менее долгие диалоги с Klarой. Монологи ей казались убедительными, осно-

ванными на убеждённости в Кларином благородии. Аргументы были беспорны: «Ты одна, бедствуешь, двоих тебе не поднять. Рвёшься, бедная, бьёшься. А мы — обеспеченные люди: прекрасная квартира в центре, машина, дача; да-да, конечно, у тебя тоже, но ты всё же не ровняй кирпичный дом с печкой и душем и твою, прости, Клара, развалюху. А образование? У Алика, между прочим, прекрасный слух. Музыканта, конечно, из него не выйдет, поздноато, а так, для общего образования... И библиотека у нас прекрасная. И у него будет отдельная комната».

Словом, все «за». Евгения Семёновна представляла удивлённое Кларино лицо. Скорее всего, она не согласится сразу, нет, конечно, Клара расчётлива и примитивно хитра. Наверняка сначала схамит — типа, в своём ли вы уме, Евгения Семёновна? А потом придёт в себя, подумает, прикинет выгоду от этого предприятия и наверняка согласится.

На самый крайний случай у Евгении Семёновны имелся последний довод склонить соседку на сделку — старинная наследная брошь, даже не брошь, а какой-то орден, что ли, в общем, звезда, острые лучи которой были плотно усеяны разной величины бриллиантами, а в середине располагался довольно крупный кровавый рубин. Звезду эту перед смертью ей сунула тётушка, сестра матери, за которой Евгения Семёновна ходила последние три года перед её смертью. От мужа она этот подарок утаила и из-за этого тоже умудрялась страдать. Но сильнее оказалась постоянно точившая мысль, что в конце

концов, по всей логике, он всё же её бросит, уйдёт, заведёт себе ребёнка на стороне, непременно уйдёт. А эта цацка — всё же кусок хлеба на чёрный день, на одинокую старость. Вполне себе оправдание. Теперь она думала, что предложит Кларе эту самую звезду, та, конечно, не сможет отказаться — такое богатство! Инночкино приданое.

Но после этих изнуряющих монологов Евгения Семёновна понимала, что без мужниного слова начинать беседу с Кларой невозможно. Пыталась завлечь Алика в дом — не только из корыстных целей, а в первую очередь из жалости. Звала его, он заходил — боком, потупив взор: тощий, взъерошенный, грязный, нелепый. Она его сажала на кухне и кормила бутербродами с дефицитной сухой колбасой, щедро сыпала в вазочку шоколадные конфеты, и сердце её сладко замирало, когда этот, в сущности, неприятный чужой ребёнок, вытирая мокрый нос тыльной стороной грязной, с нестриженными ногтями руки, жадно глотал куски, неловко разворачивал конфеты, нечаянно проливал чай, тихо говорил «спасибо» и пятился к двери.

— Алик! — кричала она ему вслед. — Завтра заходи непременно!

Ещё больше смущаясь и мучительно краснея, он кивал, своим худым телом почти просачивался в узкую щель калитки — и убегал на свободу.

Она пыталась заводить разговор с мужем издалека, подобострастно спрашивая:

— Чудный мальчишка, правда?

Муж поднимал на неё глаза, несколько минут молча смотрел и, тяжело вздыхая, говорил:

— Займись чем-нибудь, Женя. Полезным трудом, что ли. Или иди почитай. — И, помолчав, добавлял: — Не приваживай его, Женя, это неправильно. Там семья и там своя жизнь. Это всё не нашего ума дело. И не придумывай себе ничего. — Он резко вставал из-за стола и бросал ей: — А парень, кстати, действительно малахольный, эта дура Клара права. Дикий какой-то и грязный, — заключал он, брезгливо сморщившись.

Евгения Семёновна поняла, что ничего из её затеи не выйдет. Никогда, никогда муж не согласится взять Алика. И чутьё ей подсказывало: «Даже не вздумай начинать с ним этот дурацкий разговор. Из дур потом до конца жизни не вылезешь». Муж был человек резкий и без церемоний. В общем, затею эту она оставила и думать об этом себе запретила — ещё одна зарубка на сердце. Мало их, что ли? Подумаешь, ещё одна. Оставалось только по-воровски, в отсутствие мужа, зазывать Алика на чай. И мысленно голубить его, стесняясь своих чувств, — дотронуться до него она не решалась.

А у соседей разгорались очередные страсти. Обычно за лето два-три раза наезжал бывший Кларин муж, отец Алика. Клара называла его хануриком. Он и вправду был ханурик — тощий, носатый, с тревожным взглядом бегающих глаз, с тонкими, какими-то острыми пальцами, теребящими угол рубашки или брючный ремень. Приезжал он скорее к Кларе, чем к Алику. Алик его тоже